



ВЛ. С. СОЛОВЬЁВ

Особое чествование Пушкина

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
<ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»>

Это особое и достопримечательное чествование устроено несколькими господами «оргиастами» (таков их главный новейший титул) на страницах известного и весьма занимательного журнала «Мир искусства»¹. Вы совершенно напрасно не читаете этого журнала, я хочу обратить на него ваше внимание своим рассказом. Но с этим особым литературным поминанием Пушкина связано одно маленькое личное происшествие; расскажу вам и его, так как и оно при всей микроскопичности кажется мне тоже любопытным.

Столетний юбилей Пушкина застал меня в Швейцарии, в местечке, называемом Уши и составляющим приозерное предместье города Лозанны. Я приехал туда за несколько дней перед тем из приморского города Канн, где прожил около двух месяцев в гостях у одного дружеского русского семейства². В Уши я также поместился в ближайшем соседстве с этими друзьями. Накануне юбилейного дня у нас был разговор о том, как жалко, что никто не захватил за границу сочинений Пушкина и что в Лозанне невозможно достать ничего, кроме запрещенного издания с наполовину подложными и более чем наполовину непристойными стихотворениями³. Таким образом, мы были лишены единственного и наилучшего способа помянуть Пушкина чтением его творений. В полдень 26 или 27 мая входит в мою комнату почтальон с толстой бандерольной посылкой и заказным письмом. И то и другое — от редакции «Мира искусства». Читаю письмо и сначала ничего не понимаю. Редакция, препровождая мне полное собрание сочинений Пушкина, торопит прислать к началу мая статью или заметку о Пушкине для юбилейного выпуска журнала. После не скольких минут недоумения смотрю на

поздравления (с чего, конечно, следовало бы начать) и вижу что-то вроде 6 или 9 апреля. На конверте и на бандероли тоже какие-то апрельские числа и на петербургском, и на каннском штемпеле. Вспоминаю, что действительно перед отъездом дал условное обещание постараться что-нибудь написать, но за невозможностью достать в Канне Пушкина считал себя от этого обещания свободным. Но почему каннская почта, которую я своевременно известил о своём тамошнем и вовсе не извещал о лозаннском адресе, — почему она держала эту посылку более месяца и почему вдруг её отправила, и как раз в пушкинские дни, — это оставалось непонятным. Материальные причины этой странности и до сих пор мне неизвестны, хотя, разумеется, они были. «Конечная» же «причинность» или «целесообразность» этого маленького происшествия оказалась несомненная, и притом двойная. Это, впрочем, выяснилось для меня лишь впоследствии, по возвращении в Россию. А пока можно было только радоваться, что и нам с друзьями пришлось подобающим образом помянуть *donna Dei per poetam* (Поэтический подарок богов (*лат.* — *Ред.*). Несколько вечеров кряду — кажется, всю юбилейную неделю — читал я Пушкина вслух и прочёл, таким образом, все лучшие его творения.

Вернувшись в Россию, я познакомился с № 13–14 названного художественного журнала. Текст этого № посвящён весь Пушкину и его юбилею и составлен четырьмя писателями: г. Розановым («Заметка о Пушкине»), г. Мережковским («Праздник Пушкина»), г. Минским («Заветы Пушкина») и г. Сологубом (Псевдоним⁴) — («К всеоссийскому торжеству»). В заметке г. Розанова, увенчанной изображением дракона с вытянутым жалом, Пушкин объявлен поэтом бессодержательным, ненужным для нас и ничего более нам не говорящим, и это поясняется через противопоставление ему Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Л. Толстого. Почему-то, говоря об этих *четырёх* писателях и называя их всех *четырёх*, то вместе, то порознь, г. Розанов упорно считает их тремя: «эти три», «те три». Оказия сия, по мне, уж не нова. Ведь исторический роман Александра Дюма-отца, описывающий похождения четырех мушкетёров, почему-то называется «Три мушкетёра». Но кого же из *четырёх* писателей г. Розанов ставит не в счёт? В самом конце своей заметки он действительно называет вместе только трёх: Достоевского, Толстого, Гоголя. Выкинут, значит, Лермонтов. Но немного выше (с. 7), сделав выписку именно из *Лермонтова*, г. Розанов заме-

чает: «Да, они все, т. е. эти три, были пьяны» (Так как опрометчивая редакция «Мира искусства» ошибочно упрекала меня, будто в целях осмеяния г. Розанова я обрезал его изречение⁵, то я должен обратить внимание читателя на следующие страницы, где всё рассуждение почтенного оргиаста выписано целиком во всей своей неприкосновенной прелести. А делать это два раза я считал и считаю излишеством⁶). Значит, в числе трёх считается и четвёртый Лермонтов, и твёрдым остаётся убеждение г. Розанова, что четыре есть три.

Но это, конечно, не важно. Любопытно, в чём найдена противоположность между Пушкиным и этими четырьмя (они же и три) писателями. Чтобы не обидеть как-нибудь нечаянно г. Розанова, я приведу целиком главное место его заметки:

«Душа не *нудила* Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звёздно-уединённую ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трёх — она нудила, и собственно абсолютной внешней свободы, «в Риме», «на белом свете», они искали как условия, где их никто не позовёт в гости, к ним не придёт в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя — автора «Записок о Мёртвом доме» — об этом испытанном им Мёртвом доме: «Едва я вошёл в камеру (острог), как одна мысль с особенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей: *я никогда больше не буду один... долго, годы не буду*».

... и язык
лепечет громко, без сознанья
давно забытые названья;
Давно забытые черты
в сиянье прежней красоты
рисует память своевольно:
в очах любовь, в устах обман,
и веришь снова им невольно
и как-то весело и больно
тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу⁷.

«Что «пишу», что «написал»? *Даже не разберёшь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека* (Курсив мой. — В. С.). Да, они все — т. е. эти три — были пьяны, т. е. *опьянены*, когда Пушкин был существенно *трезв*. Три новых писателя, существенно новых — *суть оргиасты* (То же.) в том значении и, кажется, с тем же родником, как и Пифия⁸, когда она садилась на треножник. «В расщелине скалы была дыра, в которую выхо-

дили серные одуряющие пары», — записано о дельфийской пророчице. И они все, т. е. эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но и вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм не как особенность Дельф, но как принадлежность истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: «хороводы», «танец», «пляска» и в конце концов именно «пифизм» светил, как свежая их самовозбуждённость «под одуряющими внешними парами». Ведь и подтверждают же новые учёные в кинетической теории газов старую картезианскую гипотезу космических влекущих «вихрей». Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил⁹

и была его бездна у Державина: *он исчез, испарился, выдохся у Пушкина* (Курсив мой. — В. С.), оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех литературных поэтических форм; дивный *набор октав и ямбов* (Курсив мой. — В. С.); которым он распоряжался свободно; и сверхстарческого ума — душа как резонатор всемирных звуков.

Ревёт ли зверь...
Поёт ли дева...
На всякий звук
родишь ты отклик¹⁰.

Он принимал в себя звуки с целого мира, *но пифийской «расщелины» в нём не было* (Курсив мой. — В. С.), из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать, мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, *обильнее*. Вот почему в звёздную ночь:

— Барин всю ночь играл в карты (Разумеется ночь, после которой Гоголь в первый раз пришёл к Пушкину и услышал от его слуги этот ответ¹¹. Почему г. Розанов считает эту ночь звёздной — совершенно неизвестно.) — *и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал* (Курсив мой. — В. С.):

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит¹².

Остановимся на минуту. Вот характерная черта: в ней весь писатель. Говорю не про Лермонтова, а про Розанова. Он спрашивает, т. е. в вопросительной форме догадывается: кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи (когда Пушкин играл в карты) Лермонтов написал своё стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Можно подумать, что биография Пушкина и Гоголя, хронология лермонтовских стихотворений — всё это предметы, «покрытые мраком неизвестности». «Кто знает?» Да ведь *всякий*, если не знает, то по надлежащей справке легко может узнать, когда именно Гоголь познакомился с Пушкиным и к какому именно времени относится лермонтовское стихотворение, а, узнавши это, всякий может видеть, что дело идёт о двух фактах, разделённых долгими годами, и что осенняя петербургская ночь, которую Пушкин просидел за картами, никак не могла быть тою самою сияющею ночью, которая много спустя после смерти Пушкина вдохновила Лермонтова среди кавказской пустыни. Что же такое этот вопрос: «кто знает»? Право, я не буду теперь слишком удивлён, если какой-нибудь «оргиастический» мыслитель печатно предъявит в одно прекрасное утро такой, например, вопрос: «Кто знает, та ночь, в которую родился Мухаммед, не была ли она та самая Варфоломеева ночь, когда Александр Македонский поразил мавританского дожа Густава Адольфа на равнине Хереса, Малаги и Портвейна».

И если бы ещё отсутствие реальной правдивости в соображениях г. Розанова заменялось каким-нибудь идеальным смыслом, хотя бы фантастическим. А то ведь чем обогащается ум и сердце при замечании, что в ту ночь, когда Пушкин играл в карты, Лермонтов, может быть, написал стихотворение «Выхожу один я на дорогу»? Как единичное сопоставление, это было бы так же малоинтересно, как и то, что, когда Пушкин писал «Роняет лес багряный свой убор», Гоголь, может быть, строил гримасы какому-нибудь своему нежинскому профессору, а Лермонтов бегал за своими кузинами. А если бы сопоставление г. Розанова можно было обобщить, т. е. что Пушкин будто бы постоянно играл в карты по ночам, а в это время его якобы антиподы, которых «нудило» к перу и письменному столу, прилежно занимались поэзией, то ведь если бы этим что-нибудь доказывалось, то разве только прямо противоположное тому, к чему клонится вся заметка г. Ро-

занова, — доказывалось бы, что Пушкин был, подобно Моцарту, «гуляка праздный», но, очевидно, гениальный, если постоянная игра и гульба с приятелями не помешала ему дать в поэзии то, что он дал, а его три-четыре антипода оказались бы, вроде Сальери, художниками трезвыми и усердными, но не столь гениальными. Между тем г. Розанов стоит как раз на том, что Пушкин был более трезвый ум, нежели творческий гений, тогда как те его три-четыре преемника выставляются какими-то вдохновенными пифиями (что, однако, не мешало у Гоголя «надуманности» и «искусственности» его творений).

Но я опять боюсь, не взвести бы чего лишнего на г. Розанова и спешу к его *ipsissima verba* (Точнейшее слово — (лат.) — *Ред.*) в заключении его заметки о Пушкине:

«Пушкин, по многогранности, по *все-гранности* своей — вечный для нас и во всём наставник. Но он слишком строг. Слишком серьёзен. Это — во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать и ни в чём не могут помочь нашей душе, которая растёт глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растёт живее и жизненнее, чем опять же было возможно в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже о них, не мог бы *никак* отозваться; есть много более у нас, которым он уже не сможет дать *утешений*; он слеп, «как старец Гомер», — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно — зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создаёт обильное впечатление, как её же отсутствие есть главная причина удалённости от нас Пушкина в какую-то академическую пустынную и обожание. Мы его «обожали»; так поступали и древние с людьми, «которых нет больше». «Ромул умер»; на небо вознёсся «бог Квири́н».

Прекрасно. Когда г. Розанов говорит, что Пушкин нам не нужен, то вопрос может быть только о точном определении тех «мы», от имени которых он это говорит. Но во всяком случае ненужность Пушкина для этих «мы» неужели происходит от того, что он был слишком строг, слишком серьёзен? Может быть, эти слова имеют здесь какой-нибудь особый смысл — а в обыкновенном смысле откуда бы взяться излишней строгости и серьёзности

у того Пушкина, которого сам г. Розанов несколько выше характеризует так:

«Ночь. Свобода. Досуг:

— Верно, всю ночь писал?

— Нет, всю ночь в карты играл.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах, — и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи, — и он с друзьями. Вот ещё черта различия: Пушкин всегда среди друзей, он — дружный человек; и применяя его глагол о «гордом славянине» (?) и архаизм исторических его симпатий, мы можем «дружный человек» переделать в «дружинный человек». «Хоровое начало», как ревели на своих сходках и в неуклюжих журналах славянофилы».

Вот я, кажется, привёл всё существенное из увенчанных драконом излиятий г. Розанова. О Пушкине мы здесь, конечно, ничего не узнаем. Ничего не узнаем и о противоположных будто бы Пушкину позднейших русских писателях. Излипания г. Розанова дают достаточное понятие лишь об одном писателе — о нём самом¹³. С удивительной краткостью и меткостью характеризует он своё собственное творчество, воображая, что говорит о Лермонтове:

«Что пишу? Что написал? Даже и не разберёшь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека».

Он называет это *оргиазмом*, или *пифизмом*, и считает чем-то «ужасно великолепным», и хотя ему совсем не удалось показать, чтобы Гоголь и Лермонтов, Достоевский и Толстой были в этом виновны, зато себя он обнаружил вполне как литературного «оргиаста», «пифика», корибанта, а проще юродствующего. Русский народ знает и очень почитает «Христа ради юродивых». Конечно, не к их числу принадлежит этот писатель. Он, впрочем, не скрывает, ради чего и во имя чего производятся его литературные юродства: он указывает на языческую пифию, на её дельфийскую расщелину, где «была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары». Вдохновляющая сила идёт здесь во всяком случае откуда-то *снизу*. И вот почему Пушкин «не нужен»: в его поэзии (увы! только в поэзии) сохранилось слишком много вдохновения, идущего *сверху*, не из расщелины, где серные, удушающие пары, а оттуда, где свободная и светлая, недвижимая и вечная красота.

Пришёл сатрап к ущельям горным
и видит: тесные врата
замком замкнуты непокорным,
грозою грозитя высота.
И, над тесниной торжествуя,
как муж на страже, в тишине
стоит, белеясь, Ветилуя
в недостижимой вышине¹⁴.

В недостижимой — для г. Розанова не менее, чем для Олоферна. И для того, и для другого поэзия не идёт дальше пляшущих сандалий Юдифи, а Ветилуя (Значит «дом божий». (— это «слишком строго», «слишком серьёзно». И вот почему Пушкин причтён к тем, «которых нет больше». Не то чтобы и у Пушкина не было «пляшущих сандалий», — на иной взгляд, у него их даже слишком много, — но чувствует г. Розанов, — и я рад отдать должное верности его чутья в этом смысле, — чувствует он, что Ветилуя-то в этой поэзии перевешивает и что это образ настоящей, неподдельной, не дельфийской Ветилуи! Ну, и не нужно Пушкина. А те три-четыре, хотя г. Розанов безбожно раздул их «пифизм», но и тут чутьё всё-таки не обмануло его: розановского «пифизма», положим, в них мало, но и Ветилуи настоящей почти не видать. Гоголь и Достоевский всю жизнь тосковали по ней, но в писаниях их она является более делом мысли и нравственного сознания, нежели прямого чувства и вдохновения, притом главным образом лишь по контрасту с разными Мёртвыми душами и Мёртвыми домами; Лермонтов до злобного отчаяния рвался к ней — и не достигал, а Толстой подменил её «Нирваной», чистой, но пустой и даже не белеющей в вышине.

Каким образом отвержение «ненужного» Пушкина сошлось в «Мире искусства» с его идолопоклонническим представлением? Дело в том, что г. Розанов хотя мало смыслит в красоте, поэзии и Пушкине, но отлично чувствует дельфийскую расщелину и дыру с серными парами; поэтому он по инстинкту отмахивается от Пушкина, — это цельное явление в своём роде. Что же касается до гг. Мережковского и Минского, то при больших литературных заслугах (хорошие переводы из древних) они лишены «пифической» цельности и в этой области более поверхностны. Несомненный вкус к «пифизму» и «оргазму» соединяет их с г. Розановым, но вместе с тем сами поэты, они искренно восхищаются и анти-пифической поэзией Пушкина. То же, кажется, должно сказать и о четвёртом мушкетёре этой символической компании.

У почтенного г. Мережковского его пифизм или оргиазм выражается только формально — в неясности и нечленораздельности его размышлений. И г. Мережковский мог бы спросить себя: «Что пишу? что написал?» Во всяком случае дело идёт у него не о Пушкине, а о предметах посторонних — прежде и больше всего о всемогуществе издателя «Нового времени», который назван великим магом¹⁵. Всё это, конечно, ирония, но точный смысл её совершенно неясен. А затем г. Мережковский указывает на контраст между теперешним всероссийским чествованием Пушкина и тем, что происходило ещё «вчера». А именно вчера три писателя высказали о Пушкине мнения, которые не нравятся г. Мережковскому. Но в чём же тут контраст между «вчера» и «сегодня»? Ведь ни один из этих писателей от своих «вчерашних» мнений не отказался «сегодня», а с другой стороны, эти мнения были такими же одинокими в русской печати «вчера», как остаются и сегодня. Мнение Спасовича сейчас же было приписано его польской предвзятости, мнение Толстого тотчас же подверглось почтительному замалчиванию, как оно замалчивается и теперь, а что касается до меня, то «Судьба Пушкина» при первом своём появлении уже вызвала единодушную брань всей печати¹⁶. В чём же та перемена и тот контраст, на которые указывает г. Мережковский? Это указание, как и всё прочее, есть только дань «пифизму» и ничего более.

Настоящее слияние между «пифизмом» и свободною от него поэзией Пушкина произведено г. Минским. Приём поражает своею простотою и смелостью. Чтобы сделать Пушкина своим единомышленником, г. Минский приписал ему свои мысли, вот и всё. Победа эстетического идеала над этическим — вот одна из творческих идей Пушкина, смело утверждает г. Минский. Победа инстинкта над рассудком — вторая из них. Г-н Минский указывает на Онегина, пожелавшего счастья именно тогда, когда для его достижения понадобилось разрушить семейный мир любимой женщины и опозорить её в глазах света. Давно ли пожелание называется победой? Неужели г. Минский думает, что его читатели совсем забыли Пушкина, не помнят даже, что в его романе победа осталась не за «эстетическим» Онегиным, а за «этической» Татьяной, весьма позорно побившею героя?

Правда, г. Минский вспоминает и о другой победе Онегина, об убийстве Ленского... (стр. 25)

Три завета нашёл г. Минский у Пушкина. Первый завет — противоположение поэзии рассудку и нравственности. «Второй завет Пушкина гласит, что художник призван не с тем, чтобы баюкать и согревать души людей, а с тем, чтобы вечно их мучить и жечь». Сущность третьего и самого великого завета — равнодушие к добру и злу.

Довольно, однако. Я думаю, вы согласитесь, что я испытал двойную целесообразность. Как будто какая-то благодетельная сила хотела оказать мне двойную услугу: давая мне способ помянуть Пушкина наилучшим образом, она вместе с тем избавила меня от всякого, хотя бы невольного и отдалённого участия в этом покушении — сбросить «белеющуюся Ветилую» нашего несравненного поэта в тёмную и удушливую расщелину Пифона.

1899

